

ОЛИВИЯ КРОСС

ЗАСЕКРЕЧЕНО

2

t nem o  
nom librum  
ut mumoier  
nuns quisst  
Test en  
en

Deum Non Habat  
XIII-IV  
XIII-IV



at  
in ex  
nihil  
num p  
specu  
sod c  
ritat s  
perci  
nihil  
nr

# СУДЫ ПРАВЕДНИКОВ

КРАСНАЯ ЛИНИЯ

Осуждение как профессия



in  
en p  
peus o  
a tihur  
in har  
to su  
ini



Лодка, без которой  
реальность не держится

Осуждение всегда  
требует зрителя.

prosed  
na monna ex  
non ex nihilo, inm  
no ra cunaradiedindo se  
ativun er Idalti.

Дело № II-I7. Свидетель изменил показания.

# Оливия Кросс

## Красная линия

<https://litres.ru/73998268>

SelfPub; 2026

### Аннотация

«Суды праведников» - вторая книга серии «Красная линия» о том, как ритуал наказания превращается в удобный механизм «порядка». Архивист достаёт из папок дневник судьи с алой закладкой на «самом правильном дне», список «гражданской бдительности», стенограмму с пометой «пример показателен», конверт «НЕ ВРУЧАТЬ» с фразой, которую не должны слышать дети: «не оправдывай меня». В каменном зале всё выверено: молоток, паузы, «единым мнением», полуденное оглашение «чтобы людям было удобнее» - и аплодисменты, аккуратные как молитва. Осуждение даёт сладкое облегчение, не требуя менять себя, и потому так охотно продаётся как «справедливость».

Эта книга не про громкий приговор, а про тихую технологию правоты. Вопрос к читателю - простой и беспощадный: «праведная злость» помогает жить честнее или лишь поддерживает чужой комфорт и собственный покой? Откройте «Суды праведников» и проверьте, где проходит ваша красная линия - в слове, в жесте, в аплодисменте.

# Оливия Кросс

## Красная линия

### СУДЫ ПРАВЕДНИКОВ

#### Книга 2

#### Глава 1. Красная закладка

Тишина в архивной держалась устойчиво, как натянутая струна: ни единого скрипа досок, ровный столбик огня в подсвечнике, размеренный «кап» в блюде у стены. На стол легла тетрадь в полушёлковом переплёте, тёмно-серая, ближе к графиту, с еле заметной глянцевой каймой по краю. Бумага в блоке тяжёлая, хорошего помола, с ровной долей: такой лист не изгибается, а держит форму до последней буквы. На развороте — алый след, тонкий и мягкий: шёлковая закладка тронула слово «правильный», как будто специально коснулась, не промахнувшись ни на долю.

Заголовок тянулся по верхней строке нарочито крупно: «Мой самый правильный день». Чернила густые, с чугушной плотью, и при боковом свете на «правильный» заметна более

тёплая, почти смоляная толщина штриха — рука в этом месте надавила сильнее, чем требует каллиграфия. Пахло чернильным железом и слабой кислотой прежних пятен, а ниже, на полях, стояла короткая запись мелким почерком — как соль-присказка к горячему блюду: «дрожь в пальцах — знак ясности».

Шёлк, чуть сдвинутый со слова, хрустнул в воздухе тонко, как тонкая медовая корочка на свече. Под него легли первые строки дня — без лишних вступлений, с прямым входом в ритуал.

«С рассветом ко мне вошёл пристав, — тянул дневниковый голос, уверенно, без торопливости, — сказал: зал готов, народ идёт, просят порядка. Пальцы под пером слушались ровно. Злость — праведная — пришла без всплесков. Ровная злость — лучший знак должности. Ровная злость не двоятся».

Где-то за дверью, в коридоре за стеллажами, отозвался шаг — длинный и глухой, как бывает у людей, привыкших ходить строем. Этот звук не мешал, а только сильнее взвешивал атмосферу страницы: там, где пишут про порядок, всегда

кто-то стоит рядом — молча — чтобы порядок держался.

Слева у корешка подпёр каллиграфию прозрачный отпечаток — не пальца, а ногтя, который лёг едва коснувшись, глядя волокно. Надпись «Мой самый правильный день» не дрожала; буквы стояли твёрдо, будто по линейке, и в этой твёрдости слышалось будто заранее подготовленное дыхание зала, где «должно быть как надо».

Шёлк хотелось поддеть — он манил глаз своим единственным живым оттенком цвета в этом чёрно-сером мире. Подушечка пальца коснулась атласной полосы, ощутила прохладу волокон, отнялась. Казалось, что в самой ткани спрятан порог: пересечь — и сомнение больше не позовет, остаться — и ещё можно не соглашаться раз и навсегда. Позвонок стал прямее, как бывает в присутствии строгого учителя.

Дневник тем временем уверенно заносил день в ведомость. Лампа в кабинете — зелёный абажур, ровный, без ресниц тени — упоминалась не как предмет, а как наводка на голос: «стекло абажура, как луг под облаком, не режет глаз, а держит мысль». Рядом с этой фразой, ближе к полю, тонкая аккуратная помета карандашом: «Городу нужен пример». От

этого короткого «нужен» страницы будто сами подтянулись и уселись ровней; слово не было угрозой — домашний рецепт: так всем спокойнее.

Дальше — через три строчки — фактура зала: «небольшой скол на ступеньке у трибуны, холод по скамье к коленям, подлокотник тёплый — протёрт». Писец равнодушен к деталям власти: если подлокотник тёплый и протёрт, значит, рука долго привыкала к тяжести решения; если скол на ступеньке, значит, в этом месте падают чаще всего — будто бы сам камень соглашается с педагогикой.

«Вступительное слово не сказать громко: гул есть свой. Гул зала сам просит, чтобы его выпрямили. Сказать: “Единым мнением, по уставу, ради вразумления прочих”». Туда же, между строк, вставлен репер «пауза». Рядом, бледной чёрнильной каплей — крошечная слеза, не сразу приметная; когда строку доводили до конца, перо чуть подпиталось и в этом месте едва задетая лужица осталась петь своим железным «вчера».

Шёлк переложен так, что кончик лёг вровень с последним «правильный». Он выглядел не украшением — печат-

тью, лишённой сургучной тяжести: тихим, мягким «да» к случившемуся. Взгляд возвращался к шелку автоматически, как грудничок к теплому краю одеяла. Страница говорила языком, от которого отслаивается частное и настаивается общее: «лицо подсудимого не дергалось; так лучше для дела». Дальше — «перед оглашением — краткая молитва об утешении порядка». На полях — едва видимое нажатие пером: «не смотреть в глаза тому, кто требует жалости». Запах чернил делался гуще. Из-под перьевой кости выступала чугунная горечь — не сладкая, не плоская, та самая, что делает официальное «по чину» сытнее, чем любая правда.

Переложен следующий лист. Из подтекста начинала выходить схема действий, узнаваемая историкам по многим делам: «приставы стоят, не дышат; первый ряд — купцы с женами; далее — ремесленные; в задних рядах молодёжь; в акустике хорошо держат чужой выдох». Снова — «по уставу» и «надлежит». Эта музыка у размеренного текста чуть ниже драматической, но именно она даёт опору колену у того, кто стоит на камне трибуны.

На второй странице, чуть ниже центра, обнаружилась маленькая жирная точка, как если бы после короткого «всё» перо «подслепило» и оставило опору в писанном воздухе. Ря-

дом же словами: «Голос держать низко. Правильность — это без суеты».

«Дрожь в пальцах — знак ясности» — эта строка, повторяясь в разных оборотах, жила под разными углами в тексте, как чешуя на рыбе. В одном месте рука, заноса «дрожь», вывела «р» толще — месяцами тренированная каллиграфия дала себе право на давление. В другом месте — перевод: «злость без всплеска — хороший знак должности», и на «всплеска» сделался суховатый удар пера, будто автора раздражала сама возможность непокорности внимания.

Между длинных фраз вкраплены отдельные камни-слова, как если бы летописец раскладывал брусчатку: «молоток», «скрип», «встать», «молчать». Эта каменная бухгалтерия ритуала лишена амбиций, но даёт дорогу: считай эти камни — и дойдёшь до «порядок восстановлен».

Внизу поля — по диагонали — стояла формула: «по уставу — к оглашению». Сверху — алое ханжеское эхо закладки: красная кромка атласа касалась слова «правильный» своим почти незаметным пухлым швом, как шерстяной шарф касается щеки в январе. Закладка в этом месте оказалась не

случайно — перетянута туда чьей-то рукой с осторожным онемением: вот тут кончается сомнение.

У края столешницы прошёл лёгкий гул от двора; утренняя тележка о колесо ударилась — не громко, быстро, как внутренняя «кляц» фиксации. Притом звуке строки «дрожь в пальцах» и «ровная злость» перечитались сами собой. Всё вокруг подтверждало простой закон: где внешнее спокойно, внутреннее без угрызений дозреет до решения.

Листовка-вкладыш между страницами шевельнулась — тонкая чёрно-белая фотография зала в праздник правопорядка: у входа толпа, в середине плакат с толстым шрифтом «Во имя благочиния города». От фотографии веяло крахмалом воротничков и солоноватой струей толпы; запах подхватывал ежедневность презренного, как будто эти лица снова выставляли себя в ряд, привычно ожидая зрелища, где все знают роли. Вложенная карточка обратно соскользнула между страниц, не выпав ни в сторону сомнения, ни в коридор любопытства.

Вернулась строка о лампе под зелёным абажуром — «глазам удобно», «свет не режет», «цвет поступков ясен». Днев-

ник уверял, что в этот свет сомнение не входит, точно как мошкара не лезет в остывший огонь. где упоминалось «глазам удобно», «правильность» смотрелась не угрозой, а уютной категорией — как подушка под локтем судьи, тёплая от рук.

Во второй половине разворота — то, для чего подобные дневники собственно и заводятся: не жизнь человека, а жизнь роли. «Сказать приговор, не поднимаясь выше колена; держать голос так, чтобы общая нота чулась; улыбку не допускать; паузы класть как ступени для умного». В этих процеженных предписаниях ощущается профессиональная нежность к ремеслу — не к людям. Почерк здесь становится суше; казалось, бумага смиряется, принимая на себя ремесленную плоть.

Красная закладка, чуть вздрагивая на дыхании, касалась всё того же слова. Этот «правильный день» жил на странице уверенной машиной. Он не требовал ни оправданий, ни горячности. В просторной белой клетке внизу была написана фраза, от которой многим читателям хочется не соглашаться, но рука судьи пошла ровно: «Порядок восстановлен». Ни восклицательного знака, ни пафоса. Вместо этого — спокойная точка. И снова лёгкая примета рядом: где точка поставлена на «восстановлен», бумага темнее едва-едва — перо за-

держалось, въело чернила в волокно.

Рядом, в полях, крошечная уходящая вверх реплика красным карандашом — ровный штрих у слова «ровную», как персональный «к сведению». Место красного — кратко, но точно. Не линия через весь столбик текста, не позорящее подчёркивание, а тонкая черта-наставление: здесь — термостат. Там — легализованная температура.

Ближе к корешку раскрылся кармашек — узкий, кожаный, пришитый когда-то по-домашнему. Из него виднелась полоска бумаги, у края — жалкий облезлый ворс красной сурдинки. Заметка оказалась простой и голой: «Пауза перед “к оглашению” — как советовал казначей». За ней не прятался ни теоретик, ни богослов — ремесленник подсказал ремесленнику, как лучше. От таких заметок лицо текста становится человечней — и страшнее: где ремесло совершенное, разум убаюкан.

В дальнем углу книги белела вшивка со словами: «впереди ещё трое». Ни эмоции, ни суеты: только размеренный ритм механизма «вразумления прочих». Со страничного нутра выползла и другая формула, знакомая по многим

положениям: «Городу нужен пример». Эта короткая строка пульсировала не угрозой, а заботой — сладкой, домашней, как лишняя ложка сахара в вечернем настое: так всем спокойнее.

Закладка слегка сдвинута; кончик, уткнувшись в «льн» в слове «правильный», похрустывал от малозаметного тщеславия вещи, оказавшейся в центре сцены. Под ней глаз ловил ещё одну деталь: где слово «правильный», там жирный штрих на «л» равнялся почти двойной толщине «п» — рука от волнения нажала. Эмоция скапливалась не в лицах, а в перьях.

Плечо расправилось; спина нашла устойчивость. Пальцы отдёргнулись от шёлка и легли рядом — на сухой край полей, где можно касаться. Привычная экономия жестов говорила за неконфликтность участия в этом чтении: в подобных местах лучше молчать руками, чем торопить дыхание.

Снаружи, словно специально для сверки, прошла негромкая вереница сапог. Каменные стены приняли её как положенное, не бросаясь вперёд. Внутри книги в этот миг какую-то фразу хотелось перечеркнуть воздухом — рука на

полпальца описала в воздухе видимую только коже горизонталь. Лишняя черта не касалась страницы — достаточно собственной кожи, чтобы зафиксировать меру: ещё читается, не подписывается.

Точка внизу разворота казалась концом, но книга упиралась тишиной в продолжение. На обороте красная закладка двинута на тот же уровень; шёлк оставил на листе затёртую пленочку — место, к которому часто прикасались. Шуршание атласа напомнило о простом: предметы живут так же, как слова — стираются не смыслами, прикосновениями.

Разворот закрылся, но не до конца. Тетрадь, не желая обратно к стопке, делает мелкий, почти незаметный вздох. Лёгкое усилие — и шёлк лечь ровнее, атласная кромка — точно по «правильный». Внутренность книги успокоилась. Запах чернил опять стал влажнее — где-то поблизости подхватили ленту и окунули в бутылочку. За дверью, в своей погоде, тоже всё стояло, как положено: глухой шаг приставов — пораспорядительски, не спеша; лампа в канцелярии с тем же зелёным стеклом — не ослепительно, просто ровно; стоны скамей — как возражение миру, на которое никто не ответит.

Красная закладка, предмет не из речи, а из тела, говорила за весь разворот. Пока она касается слова «правильный», сомнения вокруг текут по полям и наталкиваются на шёлковый тупик: дальше можно, но не нужно. Эта полоска — и есть черта, которую называют «по чину».

Листы переведены на толщину ногтя. Бумага на краях тёплая от лампы, чуть липкая от давних пальцев. На память ложится самая короткая строка страницы — без точек и восклицаний, как сухой выдох: «Городу нужен пример». В комнате эта фраза — не лозунг, а простое дыхание: через неё воздух идёт ровней. В книгах такого рода подобные строки работают как печности хлеба: всё, что голодно и растеряно, привыкает к ним быстрее, чем к истине.

Тетрадь с красной закладкой вернулась туда, где лежит «на сегодня»: в середину, на тонкий кожаный коврик, который не царапает корешок. Пальцы оторвались от шелка бережно, словно кожу потрогали, не дав следу остаться. Шаги за стеной ушли в даль. Свет в подсвечнике не качнулся. На дне блюда «кап» проверил верность своему ремеслу и попал точно в паузу.

Страница с «самым правильным днём» перестала греметь смыслом — теперь она просто жила на своём месте, как гвоздь в притолоке, как зелёный абажур, как тёплый подлокотник, как гладкий молоток, как гладкий, безошибочный выдох зала в нужную секунду. Всё сделано «как надо». Именно из таких «как надо» и выращивают «порядок восстановлен». И потому красная закладка лежала не роскошью, а тихой рабочей границей — и касалась тем же кончиком нужного слова, не спутав назначение.

Смысл дня, переложённый на бумагу, не нуждался в аплодисментах и крике правоты. Достаточно было шелкового шва, зелёного света и одного короткого пожелания: «Городу нужен пример». Всё прочее закрывает входной «по уставу» и исходное «по чину». В таком воздухе сомнение не отрубается — его просто мягко отодвигают в поля, где царит вежливое «не сегодня». И алый шёлк сидел на границе, подтверждая: порог принят, тетрадь услышана, комната держит заданную меру.

## Глава 2. Праведная злость

Тетрадь повела себя послушно: разворот сам лёг туда, где полями нервничала узкая строка, а в середине сидело слово

с тяжестью. Чернила здесь темнее, чем на соседних страницах; железная соль чётче грызёт волокно. Запах чернильного железа и лёгкой кислой прелости из чернильницы смешался с медовым воском подсвечника — воздух сразу почувствовал, что разговор пойдёт о вещах без украшений.

Вверху — знакомый высокий почерк, неторопливый, размерный, из тех, что держатся прямо, будто человек пишет и в то же время стоит у трибуны: «Чувствовалась праведная злость — ровная, без всплесков. Так должно быть при должности». Фраза лёгла на лист как поперечная балка на сруб. На слове «ровная» штрих толще — нажим пошёл вглубь, будто температуру в печи прибавили до нужной отметки и зафиксировали. Рядом с «без» — крошечное чернильное пятнышко; пёрышко, видно, увязло в ремесле секунду лишнюю, роняя тяжёлую каплю. Пятно лёгкое, но веское; железо село на бумагу и никуда не уйдёт, будет темнеть по мере века. Ещё ближе к полю — сухой, почти неброский красный штрих карандашом, короткая черта наискось к слову «ровная». Та самая красная линия, которая показывает: здесь не пылить, здесь держать ровно.

Под записью — примечание мелким, сдержанным почерком: «дрожь в пальцах — знак ясности». Не в глазах, не в

сердце — именно в пальцах. Речь о ремесле, где внутреннее оформляется через телесное. Слова о «ясности» будто сдвинули ламповый зелёный абажур ближе: свет под ним не моргает, не режет — гляди и пиши, как заведено.

Дальше дневник уводил в день зала, не рассказывая — расчерчивая. Не хватает в таких записях жизни — избыток технологий: «молоток в трёх шагах от трибуны, стук должен перекрывать не шум, а дыхание». «Пауза — не для себя, для зала; пауза приучает ноту». «Глаза на уровень верхней перекладины барьера, чтоб жалость не будила лишних мыслей». «Ровная злость» расписана как температура в пекарне: выставить на «устой», не позволить ни перегрева, ни плесени.

Запахи зала в таких местах крепнут в голове сами: пыльный лак на скамьях, крахмальная жёсткость воротников, кислый пот толпы, шуршание юбок, чуть слышные хрипы кашля, когда много сидят и ждут. На полях у этого абзаца тончайший сухой след песка — перо сушили прямо тут, лишнее сболтнули пальцем, стряхнули. Привычка держать порядок в буквальном смысле: даже капля должна лечь, где положено.

Пальцы у стола ответили на чужую «температуру» незаметно. Ладонь сама нашла опору — ребро столешницы, ногти вдавились в кожу, белые полумесяцы подушечек вспыхнули на миг и притухли. В этом едва слышном сопротивлении — то, что из текстов иногда вырастает в тело, без разрешения. На мгновение показалось, что «ровная злость» — удобство для говорящего так же, как «правильное освещение» в кабинете: зелёный стеклянный луг абажура не шумит, цвет поступков «ясен», на подлокотнике у локтя — тѐплота, протѐртая годами; удобно для ремесла и для тех, кто любит свои «должности».

Тетрадь тем временем трезво отзывалась тезисами, где место настоящему человеку отдано машине. «Раздражение — событие ненадёжное; праведная злость — удобна для зала». «Положить ровную ногу и держать до конца оглашения; на спотыкание — молоток; на смешок — пауза, как в музыке». На слове «паузу» рука писца едва заметно задѣргалась; у «злость» — уверенный наклон, как у толстых травлѐных букв на вывеске. Чувствуется опыт: тут тренируется не доблесть, тут тренируется «как надо».

Вставка в середине — «для вразумления прочих». Чѣрные буквы сели будто на чужой воздух: фраза стараются произ-

носить устами каждого, кому под рясой тепло и зелёный свет мягок. На ней же — вычурная сдержанность: ни восклицания, ни скобок — равновесие ремесла. Эта плотность не щекочет, она давит незаметно. Рядом — ещё одна редкостная отметка: «без смуты». Данный вокабулюр приторен везде, где зал успокаивают не истиной, а «примером»: очередность ритуала — главное блюдо, эмоция публики — соус, сострадание — крошки, осторожно сдутые щёкой стенографиста со стола.

Про сострадание в тетради шло молчаливое действие: слово полужачёркнуто прежней рукой и тонко переправлено в «умилосердие частное», а ещё ниже — «в частном порядке — не говорить». Выяснилось, что даже тень мысли о жалости скручена в узелок и упрятана в карман среди служебных правил так, чтобы не цеплялась за локоть при службе. Вот она — цена «ровной злости»: желудок не портит, но запах пищи в комнате меняется.

Карандашный красный штрих у «ровной» возвращал взгляд как подпрыгнувшая нитка у порога. Отметка вежливая, но властная: не кричит, не перечёркивает, лишь кладёт короткую черту наискось, как если бы немой помощник показал на шкалу термометра: вот здесь. Воздух архива, от которого редко ждёшь личного участия, отозвался тихим пока-

льванием под костяшками. Ногти ещё секунду держали кожу и отпустили.

Дальше дневник плавно перешёл к конкретике того самого дня. «Перед оглашением — испытал гул; гул зала как море; не перекрикивать морей, но очинить берег». Метафоры здесь не для красоты — для управления. «Пальцы ровно держат молоток; ладонь не потеет». «Дыхание держать схронно: в зал биение не показывать; собственное не приглашать, чужое — погасить». Каждая строка — не чувство, а инструкция. Становится ясно: «праведная злость» — технология. Сострадательная жилка у такого аппаратчика лишняя.

Рядом заметка другого работника канцелярии, почерк то-ропливей: «нам это нужно». Всего три слова, а в них — короткое семейное оправдание всему: так всем спокойнее; зал не распадается на дружок и недруг; город отдыхает от своих дур. «Нужно» — не «справедливо», не «истинно», а просто — «нужно». Там, где оказывается «нужно», язык чаще причают не замечать разницы.

Внизу — скупая запись о голосе: «низко, без спешки, без звонкого» — как тянется тетива, когда ждут стрелу. Бу-

мага теоретически суха, но вокруг чувствуется влажность чьего-то дыхания, скупа на сожаление. На соседней строке вспыхнула фраза — та, что потом многим подпишет дня: «Порядок восстановлен». К ней битовая периферия текста: «знак должности — усталости нет», «руки не дрожат», «дрожь — там, где сомнение; здесь — нет».

Привычный жест — перевести взгляд на зелёный абажур, под которым работает судейская рука, — явился сам: мягкий стеклянный полог, возвышение в кабмете, прикрытая снизу тёплой подушкой локтевая кость. Предметы словно повторяют одну и ту же ласковую идею: не тревожить. И припевом — «по чину».

Пауза в записи позволила почувствовать зал вне букв. Крохотный скрип перьев у стенографиста, редкий откашлившийся; вровень с этим — неудобная мысль: «праведная злость» прививается легче, когда есть зелёная лампа, тёплый локоть, тишина, чьи-то одобрительные мускулы на лицах «горду нужен пример». В таком маринаде мораль хранится дольше, а сомнение снимается раньше срока, как стружка с яблока.

Чуть дальше — короткое воспоминание о «правильном» действии рук: «дрожь в пальцах отступила у двери; на барьере — ровно; внизу — не дрогнули колени». У этой тройной невозмутимости — собственная логика: беспокойство оставляют на коврике у входа, внутри действуют приборы. Приборы не сомневаются. Приборы со вкусом выполняют «нужно».

В полях тетради — ещё один миниатюрный лик «красной линии»: нитка на скруглённой кромке листа с едва алой пылью, как от сургуча. Видно, когда-то свежий оттиск положили рядом, и красноватое дыхание краешком перекечовало сюда. Рутинная печать умеет оставлять кровь по капле без всякого разреза.

На другом хвосте страницы — сухое «заметить в следующий раз:» и список: «не тянуть; паузы — по трём; упираться в молчание; не смотреть в глаза матерям; детям — не верить плачу; комната — дверь приоткрыта, но не фыркать лампе». Это не дневник судьбы — дневник регулировки. Среди регулируемого нет места жалости: жалость описана как вещь, нарушающая общий воздух.

Стук в глубине здания, далёкий, как обух молотка по железу, пробежал короткой складкой по тексту: буквы на миг показались слепленными из глины, и старая трещинка у края дымного пузыря сургуча на столе напомнила: мир держится тонкими швами, где шёпотом звучит: «без всплесков». Архивистская ладонь вновь нашла ту самую кромку; холод дерева отдавался в подушечках. Тишина не требовала объяснений. Воздух настоял на собственном «невмешательстве»: каждая следующая строка будет просто зафиксирована. Глазам понравится слово «ровная» — на него укажет красный штрих; носу понравится спокойный запах чёрных чернил и воска; уху понравится глухая тишина после мудрёного «должно».

Отдельная вставка в тетради — отчёт о том, как именно публике дают «нужный» кайф, хоть это слово не звучит. «После оглашения — тишина одна стёртая, потом вздох; держаться уверенно, не кланяться». «Никого не вести к ярости; ярость слишком бездомна». «Злость — праведная — должна остаться в рамках; иначе толпа делается сильнее кабинета». В этих регулятивных глаголах не слышно зла, зато аккуратно упакована хитрость: ритуалы нужны и зале, и кабинету, потому что приучают всех к предсказуемости.

У слова «всплесков» тёмный шрам: когда-то соринка впитала лишние чернила, угол ушёл в лиловое; это «лиловое» ещё не старость, но уже бронза. Такие мини-сигналы бумага посылает о своих тёплых временах, когда стихия железа жила рядом с человеческой рукой.

Слой за слоем дневник укладывал ритм: «голос — низко», «паузы — туда», «молоток — сюда». И в этом ритме чувствовалась главная пристань главы: «злость — ровная». Красный штрих у этого слова — короче ногтя и ровней него — держал вертикаль. Зал приложился бы к этому слову, как к иконе «правопорядка», если б кто-то впустил наружу целый текст.

В какие-то секунды возникала нужда остановить чтение, чтобы не раствориться в этом тихом мастерстве. В этот момент шорох у дальнего шкафа — едва осознанный — подменил необходимость. Полоска тени прошла по плинтусу, пламя повело себя на мгновение тревожней, потом опять нашло родную ось. Лист остался там, где лежал. Красная помета продолжала указывать на «ровную», будто термометр на стене в зале суда.

На нижнем поле отыскалась лаконичная, почти хозяйская реплика поздней рукой: «порядок любит ровную злость; милость любит закрытые двери». Чернила в этой фразе другие, иждивенческие, как из дешёвой, разбавленной чернильницы. Запись не вошла в книгу как равноправный игрок; осталась тихим эхо. Но смысл врос в общую музыку: «нам это нужно». Потребность делает себя «добродетелью».

Страница дожила до конца в спокойной верности ремеслу и легла на соседнюю. Свет от зелёного абажура, касающийся горизонта сознания не напрямую, продолжал дулить мысли не слишком тёплым уютом. Ничего торжественного, ничего кровавого. Кладутся «камни-слова» — «порядок», «вразумление», «по уставу». Плавно входит завершающая точка. Рядом с ней — прозрачная крошечная глянцевая крошка, как от высохшей слезы у угла глаза, когда человек не плакал, а просто долго не моргал.

На закрывание разворота не понадобилось особых усилий. Шёлковая закладка встала туда, где требуется; кончик слегка похрустывал своей гладью, натянутой между страницами, и опять коснулся «ровную» слизистой своей стороны — шёрстка шёлка прописала нутро слова ещё раз, уже без чернил. Этот касательный жест казался почти лаской: пред-

меты в таких комнатах умеют ухаживать за словами.

Дальше можно было разворачивать очередной лист, искать следующую «черту». Но выдержанная пауза не дала пойти дальше тотчас. Кисти нашли стол; кожа вернула себе привычное спокойствие. «Праведная злость» осталась в дневнике — в чёрном, красном, зелёном и железном. Комната приняла её так, как принимает все остальные рабочие вещи: как молоток, как лампу, как линейку, как подушку у локтя. Внешне ничто не изменилось. Внутри всё осталось ровным. И именно это — страшнее всех всплесков.

### Глава 3. Афиша и очередь

Камень у входа сохранил вчерашнюю влагу. Под аркой пахло сыростью, канифолью от натёртой перилы и прелой бумагой. На стене висела большая афиша — плотная, чуть лоснящаяся, буквы выведены уверенной рукой: «Во имя благочиния города. Публичное слушание. Вход свободный». Внизу — печать «утверждено», сургуч бликует влажно, в трещинке белеет тонкий шрам старости. Слева к камню прихвачена полоска — «по уставу — без смуты». Чернила на этих словах темнее, как будто под ними кто-то когда-то дольше держал палец.

От арки к дверям тянулась тонкая красная лента — не ярмарочная, служебная, вытертая, закопчённая у нижней кромки, будто дым поднимался снизу. Лента закреплена на двух столбиках с медными головками, головки протёрты руками — остались тёплые пятна. Лента — не для красоты, для памяти тела: граница, где толчея превращается в «очередь». Эта черта и есть «красная линия» места: дальше «во имя», а не «по-соседски».

Голоса стояли ровным гулом. У первого столбика двое торговцев спорили приглушённо — не про слушание, про цену соли; каждое «давай» звенело, как плохо приглушённый нож в ножнах. Чуть дальше женщина в платке уговаривала мальчишку держаться ближе: «Не мельтеши, Ивашка, по уставу стой. Порядок нужен». У дверей пристав, расправив плечи, повторял одну и ту же фразу, не меняя интонации: «Проход по двое. Без смуты». От этой линии голоса не бурлили — вжимались в рамки, слушались, как вода в узком русле.

Афиша манила взглядом не словами, телом. Толстая бумага сдерживала чужое дыхание; всякий, кто подступался

совсем близко, невольно переводил дух: будто перед иконой — не крестится, а поправляет ворот. В правом углу у края виднелась крохотная подрисовка карандашом — кто-то из прежних дежурных поставил на полях невинный знак «крестик». Красный грифель отметился ниже — короткий штрих возле «вход свободный». Так «свободный» превратился в «вовлечены все».

Камень пола перед дверью отполирован подошвами. На одной плите — едва различимая красная черта, оставленная мелом. Её едва видно, но ноги чувствуют: шаг через — уже «внутри», до — ещё «снаружи». Люди в очереди ловили этот сантиметр каждый по-своему: кто-то пританцовывал на месте, словно грелся; кто-то стоял как свеча — ни шага влево, ни вправо; чей-то взгляд падал на чужой воротник и не поднимался выше — так легче ждать.

Рядом с афишей висел небольшой список — «для старших рядов». Колонки ровные, напротив фамилий красные птички, выставленные одинаково, как галочки у плотника. Под списком — надпись «надлежит явиться»; на полях добавлено «в разумение прочих». Список пах крахмалом и старыми чернилами; бумага ласкалась к камню, словно знала, что её будут читать на бегу. Один из именитых, с узким

лицом и мягкими перчатками, невольно поправил строки взглядом — и стало ясно: внутри ему удобнее, чем снаружи.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.